

ОКУДЖАВА ЗА ГОД ДО ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАРТИИ

Подробности неудавшегося (точнее сказать, отменённого) исключения Булата Окуджавы из КПСС в 1972 году восстановлены достаточно полно. По мере открытия всё новых и новых материалов, касающихся этого события, нам довелось с 2008 года опубликовать как минимум три материала, посвящённых этой теме. Все они, наряду с другими статьями, были собраны в книге «Булат Окуджава: Белые пятна биографии» (2022). Цель настоящего сообщения — ввести в научный оборот новый, ранее не известный документ, экземпляр которого, насколько нам известно, есть в собрании РГАЛИ, но хранится там в ограниченном доступе. Именно этот документ позволяет окончательно решить остающийся вопрос, почему мемуаристы вспоминают разные поводы к этому исключению.

Известная биографическая книга Д. Быкова в части исключения во многом основана на нашей первой публикации по данной теме. Но, конечно, не только на ней. Четвёртая часть книги начинается с главы «Опала», а та в свою очередь — с двух писем Окуджавы *лета 1970 года*: в партком и в Секретариат правления московского отделения Союза писателей. Биограф прав в том, что оба появились по следам бесед с оргсекретарём Ильиным. Повод — первопубликация на Западе повесть «Фотограф Жора» в антисоветском журнале «Грани», выходившем в ФРГ.

Биограф так объясняет появление писем:

Фактический допрос у Ильина взорвал Окуджаву. Ему в самом деле надоело, что его вечно корят «использованием его имени на Западе», закрывая возможности печататься дома.

С этой мотивацией к написанию писем согласиться трудно.

Получается, что писатель по собственной инициативе обращается в свой профессиональный союз с протестом. В действительности невозможно себе представить, чтобы он сам привлёк внимание охранителей к своей персоне, да ещё в такой неподходящий для себя момент. На наш взгляд, оба письма написаны под последовательным давлением — сначала в качестве объяснительной записки о пути проникновения его рукописи на Запад (письмо в Секретариат СП от *17 июля*), а затем в ответ на требование отмежеваться от несанкционированного её обнародования (в партком *26 июля*). Обороне Окуджава предпочёл наступление и в письме в партком перечислил все свои отложенные и несостоявшиеся публикации последнего времени.

И видимо, дело так бы и осталось внутри «писательской избы», если бы не новые «прегрешения» самого поэта и не вмешательство внешних (как издательских, так и уже внелитературных) сил.

Три года назад стали известны дневники поэта А. Жигулина, который в 1970-е входил в состав партбюро творческого объединения поэтов Московского отделения СП СССР. Выборку из них для научного альманаха «Окуджава. Высоцкий. Галич...» подготовил по нашей просьбе воронежский учёный Владимир Колобов¹.

2 апреля 1971-го состоялось очередное заседание партбюро, на котором рассматривалось персональное дело Булата Окуджавы, связанное с его публичными одобрительными высказываниями о Солженицыне. Это собрание Жигулин описывает довольно подробно, и из этой его записи, в частности, можно понять, что донос на московского поэта поступил из Молдавии за подписью Павла Боцу, руководителя местного Союза писателей. Московские ястребы требовали строгого выговора, но «Булат, — по Жигулину, — признал, что совершил ошибку, сожалел и т. д.»

Дело закончилось «постановкой на вид», но этот «приговор» должен был получить утверждение (или изменён) вышестоящим органом. Этому вопросу и посвящён документ,

¹ См.: Беседы с Булатом: (Из дневника Анатолия Жигулина) / Публ., предисл. и коммент. В. В. Колобова // Окуджава. Высоцкий. Галич...: В 2 кн. М.: Либрика, 2021. Кн. 2. С. 517–547. Страницы дневника цит. здесь по данному изд. (С. 522–523).

озаглавленный «Выписка из протокола № 7 заседания партийного комитета Московской писательской организации от 6 апреля 1971 года». Текст до сегодняшнего дня не публиковался. Из него следует, что через четыре дня после описанного Жигулиным заседания партбюро состоялось новое обсуждение, — уже на более высокой ступеньке партийной иерархии, на «большом» парткоме. Окуджава присутствовал и на этом заседании тоже. И тоже вынужден был выступать с оправданиями. Решение первички утвердили единогласно.

Самое интересное в документе — короткое, около машинописной странички в подбор — «выступление Окуджавы», как оно озаглавлено документе, мы процитируем здесь с минимальными нашими комментариями.

На самом деле это, конечно, не выступление в прямом смысле этого слова, а его тезисы, — в том виде, как их зафиксировала совписовская стенографистка:

[1.] О выступлении в Кишинёве. Действительно, записка была провокационна, было мало времени, чтобы посоветоваться с Николаевым по поводу ответа. Я виноват в своём проступке и глубоко в этом раскаиваюсь. Раскаиваюсь и в том, что причинил неприятности своим товарищам.

Мы не станем пересказывать все подробности инцидента, поскольку они известны из нескольких рассказов и публикаций поэта Е. Храмова, а также им посвящён и фрагмент воспоминаний молдавского писателя Вл. Хазина в альманахе «Голос надежды».

В частности, Храмов упоминает и *неприятности* такого свойства: у организатора приезда москвичей, молдавского поэта Петра Заднипру из-за этой истории случился инфаркт.

<...>

Заметим: ни в обсуждении на партбюро, ни в резолюции публикуемого сегодня документа нет никаких других обвинений в адрес Окуджавы, кроме как в идеологически неверной оценке старшего писателя. Однако изложение «выступления Окуджавы» на позднем разборе его персонального дела существенно отличается в содержательной части от записанного Жигулиным. Отсюда мы можем сделать лишь один вывод: «старшие» коллеги-литераторы попутно припомнили провинившемуся всё, что смогли припомнить.

Итак, снова продолжим цитирование ответного окуджаевского так называемого «выступления»:

[3.] О «Гранях». Года полтора назад меня за руку взял иностранец в ЦДЛ и сообщил, что в «Гранях» опубликована моя повесть «Фотограф Жора» [в документе опечатка: ...Мора. — А. К.]. Я сказал об этом тут же Ильину. Через год меня вызвали в секретариат, я уже не реагировал на это так остро. Я не знал всех форм ответа. Мне не хотелось выступать широко в прессе. По этому поводу у меня свои соображения. Но я могу сделать необходимое заявление в Секретариат или Партком нашей писательской организации. Повесть очень слабая. Как она попала в «Грани», я не знаю.

Свои соображения поэт выскажет через год во время «процесса исключения»: коли повесть не напечатана в СССР, то и привлекать в отечественной прессе внимание к ней было бы неуместной саморекламой. А *необходимые заявления в Секретариат и в Партком*, как мы знаем, уже были(!) написаны (с них мы начали своё сообщение). Поэтому выражение *могу сделать заявление* мы, видимо, должны отнести на счёт очередной(!) ошибки стенографистки (например: «сказал, что могу сделать»). Поэт Николаев упомянут как заместитель главреда журнала «ДН» и руководителя группы. ~~И даже названный Окуджавой срок через год в данном случае формально совпадает с реальным: публикация в «Гранях» состоялась в октябре 1969-го.~~

Под незнанием *всех форм ответа*, очевидно имеются в виду варианты положенной публичной реакции советского автора на несанкционированную публикацию его сочинения за границей. На этом моменте следует остановиться подробнее и привести пример истинного отношения Окуджавы как к описываемым событиям, так и к своей оценке собственных действий и заявлений.

На одном из выступлений (дело происходило в Детройте 7 октября 1994 года) он получил записку, в которой его попросили прокомментировать давнее кишинёвско-солженицынское событие.

Вот что ответил Окуджава:

— Да, я помню, что меня спросили об этом. Это было очень давно. Я сказал, что отношусь к этому положительно, — и зал загрохотал. Потом я вернулся в Москву, меня вызвали на Секретариат. Сидят мрачные каменные лица. Меня спрашивают: как это вы сказали, что ему подходит Нобелевская премия?! И я слукавил: «Я же не сказал, что он достоин Ленинской премии, а — Нобелевской...»

Вновь вспомним краткий пересказ Жигулиным своего выступления на партбюро, в котором он пишет, что такая трактовка была заимствована им из выступления самого «обвиняемого».

Я попытался помочь ему, ухватившись за его [! — А. К.] мысль, что речь шла всё-таки о Нобелевской премии, а не о Ленинской, скажем. Нобелевская премия, мол, — премия буржуазная. Шведских академиков наша пресса ругала. Премия, стало быть, чужая, нехорошая? Солженицын, стало быть, вполне достоин этой поганой премии...

Следовательно, противоречий между старой дневниковой записью и воспоминанием Булата Шалвовича — нет. Жигулин при этом употребляет слово «уловка». Отметим также глагол *слукавил* в рассказе Окуджавы. Всё это заставляет нас вновь обратиться к публикации Быкова и самому первому инциденту с повестью (1970).

Если в 1971-м писатель напрямую заявляет, что *не знает*, как она *попала* в «Грани», то первая объяснительная для Секретариата СП, годом ранее написанная им собственноручно, заканчивалась такими примечательными словами:

Надеюсь, Вы не сомневаетесь в том, что я не имею никакого отношения к передаче рукописи повести за рубеж.

Б. Окуджава. 17 июля 1970 года.

В такой формулировке трудно не усмотреть авторскую «игру в дурачка» с руководством, то есть то самое *лукавство*. Поэт играючи переносит факт *передачи* повести, ничего при этом не утверждая(!), на невинное предположение о возможном(!) восприятии сего преступного по тем временам деяния — самими писательскими начальниками. В действительности же рукопись, пролежавшая какое-то время в четырёх различных редакциях, была передана в заграничный журнал именно им. Об этом факте он сообщил нам уже в постсоветские времена — в интервью для журнала «Библиография», — и его ответ был тогда же опубликован².

Зато неоднократно высказанная мысль автора о том, что он в своей *слабой* повести разочаровался, была истинной: повесть «Фотограф Жора» не републикована в России не только при жизни автора, но и до сих пор.

Нужно упомянуть, что даже в девяностые в ответах на записки зрителей Окуджава никогда не упоминал всерьёз — без присущей ему иронии — о карах, которые сваливались на его голову за его упорство в отстаивании личной свободы и в сопротивлении тоталитарным рамкам. Хотя он испытывал эти рамки на прочность во все годы.

В 1971-м, несмотря всего лишь «постановку на вид» (такая форма партийного наказания была тогда действительно самой лёгкой), были как минимум отложенные публикации; уже отснятая, но запрещённая авторская передача на телевидении; трудности

² Подробнее повести и о её судьбе см. в ст.: Крылов А. Е., Кулагин А. В. «Фотограф Жора» и его родственник «Промоксис»: «Тупиковая ветвь» творчества? // Голос надежды: Новое о Булате. Альм. / Сост. А. Е. Крылов. Вып. 4. М.: Булат, 2007. С. 196–235. См. также: Бойко С. С. Социально-публицистические антисталинистские тенденции в прозе 1960-х годов: «Фотограф Жора», «Новенький, как с иголки» // Бойко С. С. Творчество Булата Окуджавы и русская литература второй половины XX века. М.: РГГУ, 2013. С. 164–183.

в организации поездок на поэтические фестивали и для встреч со своими иногородними, а тем более зарубежными слушателями.

И наконец, заключительный тезис снова опять возвращает нас к молдавскому инциденту:

[4.] Моё отношение к Солженицыну: он способный писатель, но я не согласен с его идеологической платформой. Выступление моё в Кишинёве было, безусловно, неправильным. Это я сознаю.

Поэт не мог отказаться от своей позиции, которую несколькими годами ранее выражал в виде письменного протеста против исключения автора «Одного дня Ивана Денисовича» из Союза писателей. Отсюда и проистекает, на наш взгляд, такое «разделение» Окуджавой ситуации с Солженицыным на ипостаси: литературную и идеологическую. (Несомненно, не разделял поэт, например, его монархические взгляды.)

И тем не менее, конечно, здесь уже просматривается далеко не лукавство, а прямое покаяние. Возникает вопрос: почему в данном случае Окуджава предпочёл, как от него и требовалось, «признать свою ошибку», а через год — в 1972-м — долго упорствовал и не соглашался на публичное отречение от своей позиции?

Первая причина кроется как раз в требовании в 1972 году неслучайной публичности покаяния, чего в такой категорической форме не было в 1971-м. Но была причина и более глубинная — тактическая. Дело во многом заключалось в материальном положении семьи поэта. Нам уже приходилось описывать ситуации, в которых он оказывался в эти годы³. Если в 1971-м слишком много его ожидаемых публикаций стояло на кону, то в 1972-м он уже имел некую материальную базу, которая в перспективе позволяла ему, будучи отлучённым от профессии, продолжать некоторое время существовать и сопротивляться давлению.

В памяти современников детали указанных событий 1970–1972 годов естественным путём смешались, наложились одно на другое. От этого и возникла в общественном сознании путаница относительно причин исключения поэта из рядов КПСС: то ли высказывание о Солженицыне (в этом уверял слушателей, например, тот же Храмов), то ли публикация в антисоветском издании; то ли в журнале «Грани», то ли в книге издательства «Посев»; то ли его собственная повесть, то ли чьё-то предисловие; то ли 1971-й, то ли 1972-й...

Подводя итог, можно сказать, что если неприятности, которые в 1970 году, поэту удалось преодолеть довольно легко и с юмором, то в 1971-м они привели его уже к некоторым существенным потерям. Однако это ещё была не опала. Зато неприятности практически того же рода поэту не случилось обойти в 1972-м. И вот уже тогда наступила опала настоящая, последствия которой окончательно рассеялись фактически лишь к 1976 году. Потом, правда, были новые стычки с «рамками Системы», но это, как говорится, уже другая история.